ТИХАЯ МИСТИКА

ОПОЗДАНИЕ НА 113 ЛЕТ

Поезд, который прибыл по расписанию — через сто тринадцать лет

Nik Agent

Опоздание на 113 лет

«Автор»
2026

Agent N.

Опоздание на 113 лет / N. Agent — «Автор», 2026

Поезд опоздал на 113 лет — и пришёл по расписанию. Ночью 14 октября 1913 года поезд 7 вышел из Петербурга: пять часов тринадцать минут пути. В 02:53 он прибыл. Той же минуты. Только 113 лет спустя. Дежурная маленькой станции принимает состав, которого нет ни в одной ведомости: пассажиров сорок восемь — а в журнале сорок семь.В журнале — станция, которой нет ни на одной карте, и двойная минута, которая наступила дважды. В вагоне — женщина в сером пальто, которую все помнят, а в журнале её нет. Чтобы понять, что случилось на перроне, читателя переносят назад, в эти пять часов — час за часом: встала луна, пропали стыки рельсов, замерло пламя — и двести семнадцатый километр, где время идёт неровно уже сорок лет по рапортам.Тихая мистика о людях, которые доехали, и о смене, которую сдали через сто лет. Финал закрывает счёт до последней строки журнала — и оставляет одну тайну фонарю. Читается как детектив, греет как любовь к железной дороге. От автора «Ночного аудитора».

© Agent N., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Занятость перегона 6
Часть первая. ПЕРРОН 8
Глава 2. Сорок восемь из сорока семи 9
Глава 3. Ночь в депо 12
Глава 4. Начальник станции 15
Глава 5. Город, который проспал сто лет 17
Глава 6. Что показал журнал 20
Глава 7. Ночь вторая. Общие сны 23
Глава 8. Словарь уходящих слов 25
Глава 9. Врачи 27
Глава 10. Ящик профессора 29
Глава 11. Фонарь 32
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Nik Agent
Опоздание на 113 лет

Опоздание на 113 лет

Поезд, который прибыл по расписанию — через сто тринадцать лет

Автор: nikagent

© nikagent, 2026

Все права защищены. Копирование, воспроизведение и распространение текста или его частей без письменного разрешения автора запрещены.

Роман. Все события, станции, дороги, институты и лица вымышлены; историческая среда 1913 и 2026 годов передана в объёме, необходимом сюжету. Совпадения с реальными людьми случайны.

Возрастная категория: 12+

Глава 1. Занятость перегона

Ночь на пятнадцатое октября стояла такая, какой дежурным полагается её любить: безветренная, звенящая, с плотным туманом низом, который начинался за последним путём и уходил в поле, к лесополосе, где терялся старый разъезд. Светлана Морозова, дежурная по станции Ольховка, сидела за пультом, грела ладони о кружку с чаем и вела по расписанию пальцем: в 02:44 по первой ветке должен был пройти грузовой номер двадцать восемь, порожняк, электровоз. Она знала этот ночной график наизусть, как таблицу умножения: в темпе затишья, между двумя грузовыми, у неё было двадцать три минуты тишины, и она успевала выпить чай, пока он не остыл.

В 02:42 по световому табло зажглась белая полоса — занятость перегона. Света посмотрела на неё рассеянно, как смотрят на часы: полоса была правильная, только не вовремя. Грузовой двадцать восемь по графику ещё не выходил с узла, до него оставалось две минуты, и его секцию табло показывало бы в другом месте. А эта полоса лежала на её перегоне — между выходным светофором и ближайшим постом — там, где по ночному расписанию до пяти утра не должно было появиться ничего.

Она поставила кружку и позвонила на соседний пост. Ответил дежурный по посту Ключи, старик Громов, с которым они за два года так и не выпили ни разу по чаю, но который знал её голос сразу. Света спросила про занятость — у него на табло полоса тоже горела. Громов сказал, что минуту назад счёл её ложной: перед праздниками на перегонах бывает — сырость, провода отсырели, схема пискнет и отпустит. Он сказал это спокойным голосом человека, который за сорок лет видел все виды ложной занятости, и добавил: «У меня отпустит через минуту. У вас не отпустило?» — «Не отпустило», — сказала Света. Громов помолчал. Потом сказал фразу, которую она запомнила на всю жизнь, хотя тогда она показалась ей стариковской причудой: «Девочка, ложная занятость пищит и уходит. А ваша лежит. Значит, по тому перегону едет что-то, чего в графике нет».

Света вышла на платформу. Туман лежал по пояс, фонари съедали его конусами, и между ними стояла сплошная белая вода, из которой выглядывали только провода и верхушка водокачки за станционным садом. Стало тихо так, как бывает тихо перед первым снегом: даже электрический гул контактной сети будто присел. Она стояла и слушала — не знаю, чего она ждала; вероятно, звука электровоза, который придёт и объяснит полосу на табло. Поезд объясняет всё. Это первое правило железной дороги, и она выучила его раньше, чем научилась наливать кофе без сахара.

В 02:51 она услышала гудок. Вот здесь она потом просила всех не спорить с ней, потому что все спорили: гудок был паровозный. Она его никогда не слышала живьём — только в записях, в кино, в детском паровозике в парке, — но путаницы не было ни на секунду. Электровоз кричит ровно и длинно, как охлаждённая труба; паровоз живёт в звуке, он берёт его снизу, из глины, из прошлого, из старых фильмов, и голос у него не металлический, а какой-то отечественный. Этот гудок прозвучал далеко, за туманом, дважды — короткий и длинный, — и Света, стоя на платформе маленькой электрифицированной станции в две тысячи двадцать шестом году, почувствовала себя человеком, которому в ночи постучали в дверь из той комнаты, где никого не может быть.

В 02:53 из тумана вышел поезд. Он не шёл на электротяге, не светился машинными окнами, не гремел современной ходьбой — он выплыл, как выплывает из белой воды старый остров: чёрный паровоз с дымом над трубой, за ним четыре тёмных вагона, окна мягко жёлтые, в них — лица. Поезд был мокрый от тумана и живой; у него дышала труба, стыки под колёсами щёлкали по-старому, часто, как костяшки по перилам. Он подошёл к первой платформе, туда,

где не останавливался никто, кроме пригородной электрички, — и остановился так точно, что тормоз даже не вскрикнул.

Света стояла и смотрела. Она была дежурная — у неё была обязанность и был пульт, и её рука, сама, без всякого решения, потянулась было к кнопке объявления — но объявлять было нечего: в графике этого поезда не существовало. Пар над трубой поднимался в черноту и расползался; в окнах последнего вагона кто-то поднял керосиновую лампу, и свет её качнулся по вагонной стене. Поезд спал не так, как спят электрички: он не остывал. Он был занят своим путём, как человек, который досыпает в чужом доме.

Дверь среднего вагона открылась, и по лесенке сошёл человек в форменном пальто с металлическими пуговицами, с керосиновым фонарём в левой руке и с книжечкой в правой. Он сошёл, оглядел платформу — туман, фонари, провода, её — и что-то в его лице изменилось: не испуг, а та мгновенная бухгалтерия, с которой опытный человек сверяет мир с ожиданием и не находит статьи. Он подошёл, снял головной убор, поставил фонарь на лавку и сказал голосом уставшего вежливого человека, который много ночей подряд говорит одну и ту же фразу:

— Дежурная? Извините, что к вам, — дальше по расписанию у нас стоянка длинная, а здесь пересадка. Поезд номер семь, ночной, Петербург — Белогорск. Примете? Пассажиров сорок восемь, багаж лёгкий, котёл в порядке. Вот журнал — всё по форме.

Он протянул ей книжечку в потёртой клеёнке. Света приняла её машинально, как принимают накладные, — и открыла. Почерк стоял крепкий, канцелярский, в две графы: время и распоряжения. Верхняя строка гласила: «Поезд № 7. Санкт-Петербург — Белогорск. Отправление 14 октября 21:40. По расписанию — 5 ч 13 мин в пути». Ниже шёл путь: станции, стоянки, телеграфные отметки — аккуратные, правильные, их не приходилось расшифровывать, они просто были из другой страны. Света прочла верхнюю строку второй раз. Потом — дату. Потом подняла глаза на человека, который ждал приёма поезда с терпением, на которое не решается никакая наглость, потому что это было не терпение наглости, а терпение смены.

«Четырнадцатое октября тысяча девятьсот тринадцатого года», — говорила дата. Свете было двадцать семь лет, и за свою ночную смену она повидала вещи, о которых потом рассказывала мало: угон дрезины, туман, в котором не нашлись двое подростков, перепуганную лосиху на платформе. Ничего из этого не подготовило её к строке, которую она читала в третий раз. Поезд выдыхал над трубой. В окнах ждали. Человек в форменном пальто спросил мягко:

— Что-то не так с журналом? Если сошлись по графику — примите, пожалуйста. Пассажиры устали, ночь длинная.

И Света, дежурная по станции Ольховка, увидела на нижней строке журнала то, отчего у неё похолодели ладони, — не потому, что её там не могло быть, а потому, что она была там, и была последней: «Станция Обольно. Стоянка 2 минуты. 02:12». Она не нашла пока в себе голоса, и тогда человек в пальто прикрыл дверь вагона, чтобы не выстужать, и добавил то, что она будет повторять потом в каждом объяснении, на каждом звонке, на каждой комиссии, одно и то же, слово в слово, как заклинание:

— Мы в пути пять часов тринадцать минут. По расписанию. Куда уж точнее — спрашивайте хоть у машиниста, хоть у пассажиров. Поезд не опаздывает. Поезд не опаздывает никогда, — он поправил фонарь на лавке и впервые посмотрел на дату в собственном журнале, которую она держала открытою. — А год какой, девица? Только не торопитесь. Я спрашиваю не для протокола. Я спрашиваю, потому что у нас в вагоне девять лет мальчику — и мне бы знать, что ему сказать.

* * *

Часть первая. ПЕРРОН

Из журнала поезда № 7. Санкт-Петербург — Белогорск. Отправление 14 октября 21:40. По расписанию — 5 ч 13 мин в пути.

Из журнала станции Ольховка. 15 октября, 02:53. Принят неопознанный состав. Причины выясняются.

Есть ночи, которые делят жизнь на «до» и «после» не громом и не пожаром, а тишиной, в которой раздался не тот звук. Светлана Морозова прожила на железной дороге одиннадцать лет и была уверена, что видела все виды ночей: снежные, когда провода поют; дождевые, когда стрелки ловят; пустые, когда кажется, что мир закончился за последним светофором. Этой ночи в её коллекции не было, и быть не могло, потому что для неё не существовало графиков, инструкций и даже слов. В этой книге всё, что случилось дальше, записано так, как оно было восстановлено потом — по журналу, по фотографиям, по разговорам и по памяти сорока восьми человек, из которых сорок семь значились в документах.

Сначала — перрон. Три ночи и два дня на станции Ольховка, пока поезд стоял, пока приезжали люди, пока складывался счёт, которого не ждал никто. Потом — поезд: пять часов тринадцать минут пути, час за часом, от отправления до прибытия, — всё то, что произошло между 21:40 и 02:53, и чего не помнил почти никто из пассажиров, но что было записано в журнале и проявлено на стеклянных негативах фотографа-любителя. И потом — снова перрон: четыре месяца, за которые счёт сошёлся, журнал был дописан, рейс доведён до конечной, а фонарь с несуществующей станции нашёл себе место в музее. Читайте в этом порядке. Журнал в этом порядке сходится.

Глава 2. Сорок восемь из сорока семи

Павел Григорьевич Сомов, начальник станции Ольховка, приезжал на платформу в 03:07 — в халате поверх свитера, в ботинках, надетых не на те ноги, и уже с пистолетным волнением в голосе, которое на дистанции в тридцать лет службы превратилось у него в интонацию, а не в эмоцию. Он выслушал доклад дежурной, глянул на паровоз, на дату в журнале, на паровоз снова — и сказал единственное, что мог сказать человек его профессии: «Света, счёт. Сначала счёт. Сколько людей?» Света ответила, что не считала: до людей был журнал, а после журнала у неё, кажется, отняли речь. Тогда Сомов сделал то, что сделал бы любой начальник малой станции, — крикнул в туман неофициальным голосом, каким перекликаются с составами уже сорок лет: «Люди! Кто в пути! Выходи на платформу, посчитаемся!»

Они выходили медленно, как выходят люди, которых разбудили в чужом городе: сначала мужчины — два почтовых работника третьего класса с дорожными сумками; затем купец в добротном пальто до пят, придерживавший у груди ящик; затем дама с двумя саквояжами и лицом, которое ещё не решило, бояться или нет; старики, женщина с корзиной, из корзины в тумане возмущённо дышали гуси; мальчик в картузе с какой-то ящикообразной штукой на ремне; горничная с узлом; студент с чемоданом в наклейках от гостиниц; ещё студент; ещё; по одному, по двое. Света считала в уме и запиналась, как запинаются, читая вслух незнакомый текст: двадцать шесть, тридцать один, тридцать девять. Последними сошли машинист и его помощник — кочегар, вымазанный углём по брови, — и кондуктор, тот самый, что принёс журнал, — он вышел последним и прикрыл за собой дверь вагона, как закрывают за больным.

Сомов ходил вдоль шеренги с карандашом и писал в своём блокноте против каждого: приметы, одежда, кто с багажом. Он закончил на сорок восьмом — женщина в сером дорожном пальто, молодая, с небольшим сундучком в руке, — и пересчитал заново, сбоку, как учили в школе милиции: паровозная бригада, бригада вагонов, пассажиры, пассажиры, пассажиры. Сорок восемь. Он поднял журнал, пробежал ведомость пассажиров глазами, водя карандашом от строки к строке, — журнал вёл счёт иначе: сорок семь. Сомов пересчитал в третий раз, уже вслух, тыкая карандашом в воздух, и пусть бы ошибся, пусть бы сбился, — не сбился. Сорок восемь человек стояли на платформе станции Ольховка, а в журнале ночного поезда Санкт-Петербург — Белогорск значилось сорок семь.

— Так, — сказал Сомов таким голосом, каким в Ольховке произносили только «авария» и «премия». — Кто последний садился? У кого билет без отметки? Женщина в сером! Вы? Покажите билет, если позволите.

Женщина в сером пальто протянула билет без малейшей заминки — двумя пальцами, аккуратно, как протягивают документы люди, к этому привыкшие. Билет был настоящий: плотная бумага, розовый оттиск, маршрут Санкт-Петербург — Белогорск, место плацкартное. Сомов вертел его и так и эдак, искал дыроколный прокол станции отправления, которого на таких билетах не ставили, — и не находил ничего, за что можно было зацепиться глазу. Женщина сказала вежливо, что села последней, у самого тамбура, что она к сестре, в Белогорск, что торопилась и брала место у кондуктора, из рук, — так ездили, это было не в диковинку, и никто в шеренге не вздрогнул. Вздохнули — да; в шеренге вздохнули почти все, но не от новизны, а от узнавания: каждый в поезде знал, как берут место из рук.

— Хорошо, — сказал Сомов и заложил страницу карандашом. — Тогда так: почему вас нет в журнале?

И вот тут случилось первое, о чём потом рассказывали все сорок восемь, — каждый своими словами, но с одинаковым недоумением в голосе. Женщина ответила спокойно, что она есть в журнале, что кондуктор вписал её у Заборья, при проверке, и она сама видела свою фамилию — Обольская. Кондуктор Тумашев, услышав это, открыл журнал с той стороны, с

которой его носили: вверх ногами, крышкой к ладони, — и прочёл ведомость от начала до конца, медленно, вслух, пропуская каждую фамилию через зубы, как считают чужие деньги. Фамилии Обольской в журнале не было. Он прочёл второй раз. Он перевернул лист на просвет — Света потом клялась, что видела это: на просвет, против керосинового света фонаря. Листа, вырванного или подклеенного, не было: журнал был цел, шит, до последней графы заполнен ровным почерком, и фамилии Обольской в нём не было.

— Странно, — сказал Тумашев не резко, а растерянно, как говорят «странно» о пропавшем перчатке. — Я вас помню. Вы сидели в третьем вагоне, у окна, наискось от профессора с ящиком. Я прошёл с проверкой после Заборья — вы спросили, долго ли стоять. Долго ли стоять! — он засмеялся без веселья и закрыл журнал. — Я вам ответил, что стоим две минуты. Две минуты, говорю, — и куда мы теперь денем эти две минуты, я не знаю.

Пассажиры начали подтверждать — вразнобой, наперебой, каждый с места: да, она была, она сидела у окна; да, в третьем, напротив доктора; да, серое пальто, она читала; купец Балакирев даже вспомнил, что предлагал ей чай — «она отказалась, но хлебца взяла», — и все говорили это с той слепой уверенностью, с которой человек вспоминает собственное утро. Никто не сомневался. Сомов слушал, и карандаш его в блокноте водил всё медленнее, а потом он посмотрел на Свету, и Света посмотрела на него, и оба они подумали об одном и том же — но вслух этого пока не сказали. О том, что сорок семь записей могут ошибаться в одну сторону, а сорок восемь воспоминаний — в другую, но чтобы журнал и память разошлись ровно на одного человека — так не бывает ни в одном из миров, знакомых железнодорожной службе.

Решение Сомов принял быстро, потому что на малой станции быстрые решения — единственные, которые успевают созреть. Поезд — в депо, под навес; пассажиров — в зал ожидания, к печи; чай — из станционного чайника, а не из деповского, потому что станционный больше; машинисту — осмотр и под парами не стоять, задросселировать; телеграмму в узел — но не о призраках, а о составе неопознанной принадлежности, ожидаемом осмотре и о том, что движения не препятствуются. Он диктовал Свете телеграмму уже на ходу, и она писала её ровным ученическим почерком, сбиваясь только на дате, которую приходилось писать дважды: сначала как полагалось — пятнадцатое октября тысяча девятьсот двадцать шестого года, — а потом, после секундной остановки карандаша, ещё и так, как было написано в чужом журнале, — чтобы принимающий не счёл ошибкой.

Пассажиры двинулись в зал ожидания гурьбой, с саквояжами, с корзиной, с ящиком профессора, который несли двое и который стучал при переноске — не деревом, а как-то глубже, костяно, и этот звук Света расслышала и запомнила. Женщина в сером шла в хвосте колонны, с сундучком, и Света, пропуская её, сказала негромко: «Проходите, у нас тепло», — и женщина ответила: «Спасибо. Мне недолго осталось идти», — так просто, что Света не расслышала в этом ничего, кроме вежливости уставшего человека, и поняла эту фразу лишь через четыре месяца, когда счёт наконец сошёлся и журнал был дописан.

Пока шёл счёт, Света сделала то, что делает дежурная, когда мир трогается с места: проверила перегон. Она позвонила Громову на Ключи — тот доложил, что полоса занятости сошла в 02:54, «ровно в вашу минуту, девочка, и я её, заметьте, ждал»; позвонила на пост Заборья — заборьевский дежурный, молодой, заспанный, ответил, что у него с полуночи всё чисто, «а что было до полуночи — не знаю, я смену принял в одиннадцать». По линии на юг, к Белогорску, перегон был чист и пуст; по линии на север, к узлу, шёл по графику грузовой. Никакого второго состава, никакой погони, никакого «а вдруг ещё один» — перегон был честно пуст, и это было лучше любых объяснений: приехал один. Один на сто тринадцать лет.

Сомов тем временем произвёл на платформе то, что он сам называл «ревизией невозможного»: обошёл состав с карандашом, отмечая в блокноте всё, что не сходилось с нынешним веком. Отметил фонари — керосиновые, с вертлюгами; отметил буфера — старого литья, с клеймами дороги; отметил надписи на вагонах — «Санкт-Петербург — Белогорск, I—III

класс», без единой современной буквы; отметил и то, чего не хватало: автосцепки, тормозных площадок, радиостанции, борта-выступы. «Понимаете, в чём дело, Света, — сказал он, спускаясь, — я могу поверить в поезд-призрак. Я не могу поверить в поезд, у которого всё учтено до копейки, кроме года. Призраки небрежны. Этот — аккуратен. Аккуратность — примета существующего».

Последним с поезда сошёл багаж — потому что он шёл последним всегда: сундуки, корзины, ящики, птичья клеть, чемодан в наклейках; пассажиры выносили его сами, по-поездному, передавая из рук в руки с площадки на землю, и Света, глядя на эту передачу, поняла вдруг, почему её не удивляет никакая дата: потому что вот этот жест — один держит, другой принимает, «берись крепче» — одинаков у всех людей всех веков, и пока он совершается, веке всё равно, сколько ему лет. Она стояла на перроне и принимала чужие сундуки — и не чувствовала никакого барьера, кроме веса. «Тяжеленький», — сказала она студенту. — «Ничего, — ответил студент, — он в пути не один год лежал, привык».

А журнал остался на пульте, в клеёнчатой обложке, раскрытый на последней странице. Света вернулась к нему в четвёртом часу, когда зал ожидания затих и из депо перестали доноситься голоса. Она перечитала ведомость — сорок семь строк, сорок семь рукописных фамилий, — и уже собралась закрыть журнал, как заметила на нижнем пустом листе карандашный след, слабый, вдавленный, без графита: как будто по этому листу водили пером, прижатым через страницу, и писали то, чего на странице нет. Она поднесла лист к лампе. След читался, если прищуриться и повернуть, — отдельные крючки, петля, росчерк. Света не была экспертом-криминалистом, она была дежурной, но она умела читать недописанное: её отец работал путейцем и на её глазах восстанавливал записи на мокрых накладных, дыша на бумагу. Она дышала. Петля выпрямилась в букву. Буква была «О» — и дальше, если верить глазам, шло слово, от которого в пустом зале ожидания стало так тихо, что было слышно, как за стеной остывает деповская печь. «Оболь…» — читалось на вдавленном листе. Света закрыла журнал, положила на него ладонь и очень аккуратно, чтобы не сорваться ни на шёпот, сказала вслух пустому залу: «Так. Спокойно. Утром всё встанет на место». Утром ничего не встало на место. Утром приехал инженер с дороги, и сказал, что никакого разъезда Обольно на её линии не строили, не проектировали и в документах не значилось — никогда.

Глава 3. Ночь в депо

Депо станции Ольховка помещало три пути, но всегда занимало два: третий был завален градусниками, шпалами и ящиками с песком — на всякий случай, на который на железной дороге не полагается надеяться, но под который полагается подкладывать. В третьем часу ночи оба рабочих пути освободили для прибывшего состава, и паровоз завели под навес так осторожно, как заводят под навес паровоз, который единственный в мире и которого нельзя ни поцарапать, ни распарить, ни потерять. Машинист Гуськов сам опустил реостатную рукоять — он сказал «парасильную», никто не поправил, — и старик долго стоял, положив ладонь на горячий борт, как стоят у борта лошади, с которой только что сняли упряжь. Потом обернулся к Свете и спросил, есть ли у них масло с полярностью. Света сказала, что есть масло. «Всякое есть масло, — сказал Гуськов. — Я спрашиваю, какое».

Зал ожидания к этому часу принял всех, кто сошёл на перрон: лавки, придвинутые к печи в два ряда; саквояжи у ног; корзина с гусями под лавкой у окна — гуси сидели почему-то смирно, а хозяйка их, Пелагея Тимофеевна, торговка из-под Белогорска, наоборот, не сидела смирно ни минуты. Она ходила вдоль печи и приговаривала, что гуси у неё ласковые, что в Петербурге их никто не обидел, что в поезде им дали пареной репы, и всё это — тем живым, громким, неподавляемым голосом, каким на перроне перекликаются через составы. К третьему часу её голос сделался в зале доминантой порядка: когда она сказала «садись, чай горячий», садились даже профессора.

Чай заваривали станционный, в двенадцатилитровом чайнике, который в обычные ночи обслуживала только электричка. Купец Балакирев, Ерофей Прохорович, человек массивный, с бородой, подстриженной клином, достал из дорожного ящика свёрток: сухари на меду, баранки, три банки варенья из крыжовника и стаканы в подстаканниках — шесть штук, латунные, с чеканной виноградной гроздью. Света потом вспоминала, что стаканы были самые красивые из всего, что она видела этой ночью, — красивее паровоза, хотя паровоз был красивее всего, что она видела вообще. Балакирев раздавал подстаканники с обеих рук, как раздают просфоры, и каждому говорил своё: тебе, доктору, — крыжовника, горло лечит; тебе, сынок, — баранку, подрастёшь; а вам, начальник, — сухарей, у вас ночь длинная. Сомов, сорок лет не улыбавшийся в служебные часы, взял сухари. Это заметили все и никому не сказали.

Гриша, мальчик девяти лет, приехавший с бабушкой из-под Гатчины, сидел подальше от взрослых и держал на коленях свой ящик — ларец на ремне, с латунной ручкой, внутри которого на медных штоках стояли стеклянные пластинки. Это был волшебный фонарь, и бабушка Агафья поила станции чаем уже без остановки на каждое «а что там». Гриша приоткрыл крышку, показал первую пластинку на свет: волна, застывшая в зелёном стекле, с пеной по гребню. «Морская, — сказал он с той непогрешимой взрослостью, с какой мальчики объявляют главное. — У меня их четырнадцать. Ещё пальмы и поезд через мост. Поезд — самая красивая, я её пока не смотрел ни разу, берегу». — «А сейчас посмотри, — сказала Света, присев на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. — У нас тут ночь длинная, хватит на все четырнадцать». Гриша посмотрел на неё с сомнением взрослого человека, к которому лезут с добром, и сказал: «Это не ночь. Ночью окна должны быть тёмные. А у вас все окна светятся и никого в них не видно». Света открыла было рот, чтобы объяснить про двойные рамы, — и не объяснила. Она не знала, как объяснить мальчику, что ночью, в четыре, в депо горят все фонари, и это правильно, и это мир, и так надо.

Остальные разговаривали так, как разговаривают в поезде на длинных перегонах: с полуповоротом, через плечо, не отрываясь от багажа. Студенты из третьего класса — их было пятеро, с гармонью, которую держал гармонист Сеня, худой, с обгоревшей на солнце шеей, — спорили вполголоса, что́ это за станция, если по названиям она не значится; гармонист держал

гармонь на коленях, как держат спящего ребёнка, и ни разу не сыграл: он сказал, что в помещении нехорошо, «у нас из вагона гусиных криков не вылезти», но Света запомнила, как он дважды потянул меха и дважды остановился, как перед чихом, и отложил гармонь на лавку, добром не сказав ни слова. Учительница Смородина, Лидия Павловна, двадцати шести лет, со строгой причёской и глазами, в которых усталость стояла рядом с любопытством, как двое пассажиров на одной лавке, записывала в книжечку всё, что слышала; Сомов, проходя, глянул — и спросил, ведёт ли она протокол по долгу. Она ответила, что по профессии: «Я учительница, Павел Григорьевич. Я не умею не записывать».

В третьем часу в депо пришёл Рудницкий — инженер службы пути, Николай Аркадьевич, тридцати четырёх лет, в дорожном пальто с барашковым воротником, с чертёжной трубкой через плечо; его подняли с квартиры по телеграфу, и он вошёл сразу в дело, минуя чай, что при его желудке было героизмом. Он поднялся на локомотив, спустился, обошёл тендер, постучал молоточком по бандажу, послушал, как стучит, — и лицо у него стало таким, каким оно становилось у него только на ударных стройках, когда счёт шёл на недели. Он сказал Сомову тихо, в затылок: «Павел Григорьевич, это ходовая не девятьсот тринадцатого года. Это ходовая девятьсот шестого. Колёса моложе даты на семь лет, а рама старше на четыре. Так не бывает на одной машине, если машина не служила три депо подряд. Она собрана как... — он поискал слово и нашёл: — как чемодан, который собирали на вокзале. Всё цело. Ничего не соответствует».

Кочегар Тишка, девятнадцати лет, весь в угольной пыли, кроме двух светлых щёлок вокруг глаз, сидел на тендерной лесенке и ел баранку, от которой не отрывал взгляда гусь — старый, седой по груди, вылезший из корзины на волю. Тишка делился с гусем по крошке, и гусь брал крошки с той степенной брезгливостью, с какой старые гуси берут всё. «Тихон, — спросил его проходивший Рудницкий, — уголь какой жгли?» Тишка ответил честно: «Уголь, вашбродь. Карий, донской. Как всегда». — «А из какого расчёта?» — «Тут, — сказал Тишка и почему-то понизил голос, — тут самое интересное, вашбродь. Мы весь расчёт сожгли ещё до Заборья. Печь полная, уголь цел. Я сам рукой мерил. Гори — не гори, весь как был. Я машинисту боялся сказать, решил — от усталости мне мерещится. Печь, вашбродь, полная». Рудницкий посмотрел на тендер. Тендер был полон угля. Инженер, который сорок раз пересчитывал чужие тонны, сказал медленно: «Полный». И, помолчав: «Запиши, Тихон. Время. Кому сказал. Сам знаешь, что на бумаге живёт, без бумаги — сплетня».

Около пяти, когда в зале ожидания уснули почти все — спали сидя, в пальто, как спят на вокзалах во все века, — Света вернулась к пульту и позвонила в узел, в справочную и в архив дороги, куда дозвонилась с третьего раза. Ночной архивариус, женщина с голосом, поставленным на звонки за тридцать лет, выслушала её с той вежливостью, с которой выслушивают студентов, разыгравших шутку, — и стала искать. Света ждала на трубке долго. В трубке шуршали папки, двигались коробки, далеко за спину архивариусу кричали что-то про инвентарные книги. Наконец голос вернулся: «Слушайте, девушка. По номеру семь, ночной, Петербург — Белогорск, четырнадцатого октября девятьсот тринадцатого года — я ничего не нашла. Ни билета, ни ведомости, ни расписания. У меня все ночи девятьсот тринадцатого года на столе, все три коробки. Такого поезда не было». Света спросила: «А как же он доехал?» — и архивариус ответила тем ровным голосом, каким отвечают на вопрос, заданный не по адресу: «Девушка. Если поезда не было, он не мог доехать. Поищите в своих бумагах, что вы приняли. У вас ночь, вам мерещится, а мне пол-архива перелопатить». Она положила трубку первой, и в тишине пультовой Света сидела очень прямо, глядя на табло, где белая полоса занятости уже не горела: перегон отпустил.

В 05:40, когда за окнами пультовой началось серое, Сомов вернулся с депо, снял халат, надел китель, поправил в петлице значок — он делал это всегда перед серьёзным разговором, как надевают латы, — и сказал Свете фразу, с которой началась вся вторая половина этой истории: «Я сейчас скажу вещь, за которую меня раньше снимали с двух должностей. В журнале

этого поезда нет ни одной ошибки. Я проверил как дипломированный проверяльщик: даты, времена, отметки, суммы багажа — всё сходится, всё сверено, всё по правилам девятьсот тринадцатого года. Понимаешь, что это значит? Если это работа сумасшедшего — он работал по инструкции. А если работа не сумасшедшего — тогда...

Он не договорил — не потому, что испугался, а потому, что дальше начиналась территория, на которой у начальника станции не было ни должности, ни инструкций. Света договорила за него, тихо, глядя в табло: «Тогда это не работа. Тогда это журнал поезда, который доехал». Сомов посмотрел на неё, потом в окно — на депо, над которым ещё поднимался, редея, честный паровозный дым — и поправил в петлице значок второй раз. В это утро он ещё не знал, что через четыре месяца будет диктовать в журнал поезда последнюю строку; что номер семь доедет до Белогорска — хотя бы по одному разу; и что фонарь со сгоревшей станции, которую не строили, будет в музее дороги — и будет светить. Утром он знал только одно: сорок восемь из сорока семи — это не ошибка счёта. Это начало книги, которую ещё предстояло написать.

Глава 4. Начальник станции

Павла Григорьевича Сомова на этой линии знали все — и все, кто знал, начинали рассказ о нём с одного и того же: «человек, который поправляет очки, когда хочет соврать». Поправлял он их каждый раз, когда приходилось говорить вышестоящим то, чего вышестоящие не хотели слышать, — и за тридцать девять лет службы это движение стало у станции Ольховка приметой правды: если Сомов поправил очки, значит, сейчас будет не удобно, но честно. Родом он был с узла, из семьи сцепщика; школу путейскую прошёл всю — от стрелочника до начальника, — и за все годы ни разу не поехал в отпуск в сезон; он говорил, что отпуск — это когда на станции кто-то другой принимает туман, а туман на Ольховке был, по его мнению, личный.

Станцию он принял в сорок девять, после двух понижений — оба за правду: один раз за рапорт о бракованном рельсе, который начальство велело «поставить в резерв», второй раз за отказ списать стрелочника, который спас состав своей внимательностью, шагнув под хвост. Очередной начальник дороги, принимая его после второго понижения, сказал с досадой: «Сомов, вы несовременный». Сомов поправил очки и ответил: «Возможно, Иван Петрович. Рельс тоже несовременный. Он с 1876 года. И я его, значит, в резерв». Это был единственный раз, когда его понижение кончилось повышением: история с рельсом дошла до ревизии, и Сомова вернули — уже с формулировкой «за несвоевременную честность», которую он ходатайствовал вписать в трудовую целиком.

Поэтому когда в ночь на пятнадцатое октября 2026 года на его станцию прибыл поезд из 1913 года, начальником, к которому это могло прийти удачнее, был не человек: Сомов сделал с этим обстоятельством ровно то, что делал со всеми своими невозможностями, — надел китель, поправил очки и завёл опись. Его рабочая тетрадь той осени, сорок восемь листов в клетку, стала потом самым цитируемым документом депо, и на первой её странице стоит его принцип, выведенный им самим в первую же ночь: «Не решаем, возможно ли. Решаем, что делать. Возможно ли — выяснят приборы, а станция отвечает за людей сегодня».

Дома у Сомова жила жена, Нина Сергеевна, школьная учительница на пенсии, и кошка по имени Стрелка, найденная на посту в метель; жена узнавала о его ночах по одному признаку — он приходил утром в кителе, а не в халате. «В кителе, значит, тянули. В халате — кончилось», — объясняла она соседям. В ту осень он пришёл в кителе двадцать один день подряд; на двадцать второй Нина Сергеевна молча собрала ему сумку на неделю, положила вторые очки, тетрадь и три пары носков, и сказала при расставании то, что он потом пересказывал всем корреспондентам вместо биографии: «Павлик, я тридцать лет знаю, что ты поправляешь очки, когда врёшь. Так вот: с ними, с людьми, не ври никогда. Они у тебя первые, кто не поймёт шутки». Он не врал. Ни разу — ни им, ни комиссии, ни журналу.

К пассажирам у Сомова было то отношение, какое бывает у человека, выросшего на узле, где все друг другу родня и никто не родня: деловое сердце. Он не умилялся и не пугался; он записывал, кормил, назначал дело и защищал — последнее особенно, потому что в октябре-ноябре 2026 года на станцию шли все, кому не лень: репортёры, любопытные, чиновники трёх уровней и один энтузиаст с металлоискателем. Сомов выстроил с ними ту же бухгалтерию, что и со снегом: «встречаю, считаю, увожу». Его фраза на въезде посёлка, повешенная потом на щите и ставшая девизом всей истории, родилась из этой осени: «Через станцию проезжают поезда и проходят века. И то и другое — без билета на фотографирование».

В рейсе памяти он был начальником маршрута — то есть тем, кто отвечает за линию; в переговорах с дорогой он сказал две вещи, которые решили дело. Первую — наверху: «Вы спрашиваете, что будет, если что-то повторится. Отвечаю: будет то же, что в двадцать шестом, — люди доедут, дорога довезёт, станция примет. Опасаться надо не повторения, начальник дороги. Опасаться надо того, что мы не поверим второму приходу, если он случится. Первый

раз мы поверили за четыре месяца. Второй раз я обещаю поверить за четыре минуты». Вторую — своим, в депо, перед выездом: «Едем как работаем. Никаких аплодисментов, никакого исторического духа. Паровоз — под пар, фонарь — на площадку, журнал — под руку. Исторический дух, господа, — он, когда без рук. А у нас всё с руками».

После рейса Сомов доработал до пенсионного, ушёл в 2029-м — и ушёл так, как жил: сдав смену. В свой последний день он провёл на станции полный график, в 21:40 выпил с депо вечерний чай «в честь отправления», в 22:30 закрыл пульт, расписался в журнале станции — «пост сдал, порядок, средства в исправности» — и, уходя, поправил очки перед пустой пультовой, потому что врать было не перед кем, а привычка — она на жизнь. Света, принявшая пост, нашла на пульте конверт: внутри была его рабочая тетрадь той осени, все сорок восемь листов, и записка в четыре слова, которую в депо потом держали на стене рядом с тетрадями Громова и Пчёлкина: «Продолжайте опись. Всё продолжается».

Глава 5. Город, который проспал сто лет

Утро пятнадцатого октября поднялось над Ольховкой серое, моющееся, из тех, после которых всё кажется устранимым. В шесть с половиной открылась столовая при станции — четыре стола, окно в депо, телевизор под потолком, — и Света, не спавшая вторые сутки, сделала то, что приказала бы любая инструкция: организовала людям настоящее. Она провела пассажиров через служебный переход в столовую, усадила за два стола, поставила на столы то, что было: каши, хлеб, кипяток, вчерашние ватрушки. Телевизор она выключила заранее. Об этом поступке много потом говорили умные люди на совещаниях; Света говорила коротко: «Им и так хватало. Одна жизнь за ночь — это перебор».

Первым на улицу вышел купец Балакирев. Он сказал, что купца видно издалека, а скрывать себя — примета дурная, и вышел через главные двери на привокзальную площадь с тем спокойствием, с каким выходят на площадь после ярмарки. Он увидел площадь, и остановился, и стоял долго. Площадь была узнаваема: та же, она никуда не делась, — водокачка, скамейки, клумба с отцветшими бархатцами. Неузнаваемо было всё остальное: у водокачки стоял автомобиль — гладкий, серый, без лошади, с такой обтекаемостью, какой купец не видел ни на одной выставке; на здании вокзала светилась надпись, и буквы в ней горели, не сгорая; через дорогу на столбе сидел ящик, в ящике что-то тихо играло, и к ящику никто не прислушивался, как не прислушиваются к дышащему. Балакирев стоял, держа шляпу у груди, и лицо у него было лицо человека, который в счёте не боится больших чисел, но впервые видит, что числа эти — о нём.

— Триста лет тому назад, — сказал он Сомову, когда тот подошёл, — я бы сказал: воля божия. Сто лет — скажу: прогресс. А теперь, Павел Григорьевич, я скажу тебе как купец: у меня на ярмарку везено товара на четыре тысячи, и вся эта красота, — он повёл рукой на автомобиль, на вывеску, на столб с ящиком, — она, конечно, красивая. Но мне бы сейчас знать одно: принимают ли в этом году платежи старорежимным серебром. Потому что если не принимают — я не купец, а мужик с ящиком. Он помолчал и добавил, уже себе, в бороду: — А я всю жизнь был купец. Это не должность, это строение внутри.

Город просыпался. Ольховка была станционным посёлком при узле: две улицы, кооператив, школа, дом культуры с колоннами, субботний рынок у депо. К восьми утра о поезде знал весь посёлок — новости на такой скорости распространяются быстрее любых средств, потому что идут пешком и звонят в калитки. Приезжали смотреть: сначала старики, потом школьники с портфелями, потом женщина с коляской, в которой младенец спал так же невинно, как спал бы при любом поезде. Пассажиры первое время выходили к ним охотно — люди вообще сначала охотны, испуг приходит после, — и между двумя эпохами устанавливался тот же обмен, какой всегда устанавливается на перроне: «у вас как? — а у нас так». Бабушка Агафья спросила у женщины с коляской, чем кормят; женщина спросила у бабушки Агафьи, не холодно ли младенцу было в старом вагоне; и обе обеих успокоили, и на этом два века поговорили о главном.

Труднее всех пришлось не пассажирам, а предметам. Вещи не умеют ждать сто лет: у них для этого нет ни характера, ни привычки. Стеклянные негативы фотографа Гольденберга — двенадцать пластинок в ящике, завёрнутые в газеты четырнадцатого октября — сохранились идеально, потому что стекло не стареет, стареет только вмазанное в него время. А вот у студентов расклеились чемоданные наклейки, у Пелагеи Тимофеевны лопнула корзина — гусей перевели в сарай при депо, где они немедленно заняли его и объявили своим, — и у профессора Верейского рассыпался медный винт на ящике, о котором он сказал равнодушно: «Винт не был важен. Важна катушка».

В десять утра в столовую, где пассажиры доедали кашу, вошла врач — местная, Татьяна Робертовна, полная женщина в белом халате, с ингалятором под мышкой, — и случился разго-

вор, который Света потом пересказывала дословно, потому что он был первым, в котором два времени поговорили по-настоящему. Врач спросила, кто здесь медик. Поднялась земский врач Веретенникова, Софья Андреевна, тридцати девяти лет, в дорожной накидке, с саквояжем, в котором, как выяснилось, были щипцы, шины, ларингоскоп и карболка. Женщины посмотрели друг на друга, и врач 2026 года сказала: «Круп у нас в посёлке прошёл ещё до вашего отправления. Вас бы называли „старой школой“. Вы не обижайтесь». — «Я не обижаюсь, — сказала Софья Андреевна. — Я спрашиваю: чем вы ставите диагноз, если щипцов нет?» И врач 2026 года, помолчав, ответила: «Камерой. И это нас иногда губит». Они сели рядом, и через час у них уже был общий список того, что в 1913 году лечили хорошо, а в 2026-м — плохо, и он был длиннее, чем можно было ожидать, и короткий в одном месте: оба века не умели сидеть у постели столько, сколько надо.

К полудню прибыла первая официальная машина из узла — «УАЗ» с двумя представителями, которые вышли с папками и лицами, приготовленными для проверки подделок. Проверка подделок кончилась через сорок минут, потому что проверять было нечего: подделка подделывает известное, а тут все сорок восемь человек друг друга не знали до поездки, каждое лицо имело биографию, отпечатки имели возраст, зубы имели пломбы из материалов, которые перестали делать за век до этого, и один из студентов, оказывается, всю дорогу ехал с медной царской монетой в подошве — от сглаза, от бабушки, — и монета была той же монетой. Представители уехали бледные, сказав Сомову ту фразу, которую он ждал: «Павел Григорьевич, мы напишем, что требуется комиссия». — «Пишите, — сказал Сомов. — Только напишите и то, что движение не препятствую, людей не отпускаю и сам никуда не уезжаю. Комиссия комиссией, а поезд мой».

После обеда Света впервые за ночь поела — стоя, на кухне, ложкой из банки, — и в эту минуту к ней подошла женщина в сером пальто. Анна Обольская стояла рядом молча, пока Света не отложила ложку, и тогда сказала: «Вы меня боитесь». — «Я вас не боюсь, — сказала Света честно. — Я не понимаю вас. Это другое, и это пройдёт». — «Понимаете, — сказала Анна. — Вы просто ещё не проверили. Проверьте сестёр. Я говорю: у меня есть сестра, Дарья, она младше меня на шесть лет, она живёт в Белогорске на улице Водной, она вышла замуж за Акима Морозова, пекаря. Проверьте, и вам станет легче. Мне, — она посмотрела в окно, на серый автомобиль, на светящуюся вывеску, на столб с ящиком, — мне легче не станет. Но вам — станет». Света поставила банку. Фамилия Морозовых была фамилия её прабабки. Света была дежурная, и она умела ждать смены, но эти сорок секунд, пока она решала, спрашивать или не спрашивать, были самыми длинными в её смене. Она спросила: «Ваша сестра — Дарья Обольская, в девичестве? Аня? Вы — Аня?» — и женщина в сером пальто кивнула, и в этом кивке не было ничего страшного. Был усталый человек, который очень давно едет и которого наконец спрашивают по имени.

Утро принесло и первую печаль — тихую, по-поездному честную. Тишка, сойдя с машины, первым делом спросил у деповского сторожа, где тут вода и где свалка угля; сторож показал на гаражи, на баки, на асфальт — и Тишка, старый угольный пёс, вдруг сел на барьер и сказал: «У вас весь уголь в подвалах. А у нас он в небе жил: совком метёшь — угольная пыль летит, солнце сквозь неё — как сквозь янтарь. Красиво было, вашбродь. Утро у машинистов начиналось золотое». Сторож, дед восьмидесяти лет, дотянулся до него рукой: «У нас тоже было золотое, паря. Просто золото теперь — в других местах. Ты не тужи: у тебя в печке оно всё и осталось». Тишка посмотрел на свои руки — чёрные по локоть — и, кажется, поверил.

Гуси к полудню освоились: их перевели на привязь у деповского сарая, и Пелагея Тимофеевна завела с ними тот же распорядок, что в 1913-м, — кормление в шесть, прогулка в девять, купание в двенадцать, — и гуси, не знающие календарей, приняли распорядок как должное. Дети посёлка стекались на купание смотреть из-за забора — на старых белых гусей в новой воде; Пелагея Тимофеевна не гнала: «Пусть смотрят. Птица общественная. Только не

пугайте — гусь пугливый, а память у него длинная: обидите — до седьмого поколения помнить будут». Дети не обижали. Через неделю они уже кормили их из рук, а самый маленький, трёх лет, выучил слово «холмогорские» и произносил его всю осень вместо «здравствуйте».

К вечеру Сомов собрал всех на короткий час — не совещание, «час», как он это назвал: «Господа, я вас не буду ни о чём просить три дня. Три дня вы — гости. Гостям положено есть, спать и осматриваться. На четвёртый день я принесу вопросы. Ответите — какие сможете. А сейчас — чай, и пусть кто-нибудь расскажет мне про Белогорск девятьсот тринадцатого года: мне жить теперь в его правнуке, и я хочу знать, каким он был». И они рассказывали — Балакирев про ярмарки, Пчёлкин про участки, Смородина про гимназию, Гриша про то, как «у нас на даче мост» — и Сомов слушал, положив очки на блокнот, потому что очки поправляют, когда врёшь, а он не собирался.

Вечером того же дня в депо, при керосиновой переноске, которую нашли в кладовой при мастерских, Гриша достал последнюю пластинку волшебного фонаря. Ту, которую берёг: поезд через мост. Он вставил её в ларец, поймал светом белую стену депо, и по стене пошёл поезд — паровозик с вагонами, мост с фермами, под мостом вода, и всё качалось в дрожащем свете, и взрослые смотрели на стену молча, потому что на этой пластинке было нарисовано то, чего им сейчас больше всего не хватало: поезд, который едет. Едет себе и едет, через мост, над водой, никуда не опаздывая, потому что у рисованных поездов не бывает расписания. Гриша дал пластинке остыть, положил в ларец, сказал: «Самая красивая. Я же говорил». И зал ожидания, в котором сорок восемь человек прожили первую ночь нового века, согласился с ним вслух — впервые за сутки громко и дружно.

Глава 6. Что показал журнал

На второй день в Ольховку приехал инженер Рудницкий с библиотекой. В буквальном смысле: он привёз в дорожной сумке архивную выписку на девяносто листов — все графики, все книги расписаний и все телеграфные журналы ночного движения за октябрь тысяча девятьсот тринадцатого года, какие нашлись в узле, — и разложил их в комнате отдыха прямо на полу, спросив у Светы только одно: «Чайник можно на плиту? Мне теперь долго». К вечеру он поднял голову от бумаг и сказал за столом фразу, с которой началась история станции Обольно как истории официальной: «Я нашёл семь поездов, прошедших тот перегон в ту ночь, и четыре обгонных расписания. Все прошли по графику. Ни в одном документе станции Обольно не существует. Она не закрыта, не переименована и не снесена, Павел Григорьевич. Её не проектировали».

Это был первый документальный камень, и на нём все споткнулись одинаково: не о невозможность, а о точность. Пассажирский журнал не мог записать станцию, которой нет: журналы этого не умеют. Отметки стояли уверенные, конденсорским почерком: «Обольно. Стоянка 2 мин. 02:12». Тумашев, когда ему показали документы, посмотрел долго, потёр пальцем строку, как потирают монету на счастье, и сказал только: «Писано моей рукой. Я почерк свой знаю, как жена знает походку. Писано — и всё». Спрашивать его «откуда» было бессмысленно: он не знал. Он писал по службе, а служба в ту ночь, выходит, знала больше него.

Негатив номер семь

Разрешение пришло с той стороны, откуда его не ждали: от стеклянных негативов фотографа Гольденберга. Осип Давыдович, сорокачетырёхлетний почтовый служащий, снимал в поездке для души — ночные перегоны, огни разъездов, пейзаж с моста; он возил ящик с камерой и сменные кассеты, а проявлял дома в ванной, при красном фонаре. Негативов было двенадцать. Первые шесть — обычные: перрон Петербургского вокзала перед отправлением, состав под парами, бригада у тендера, гуси в корзине, снятые из окна, пейзаж в сумерках. Седьмой негатив он снимал около второго часа ночи — он помнил, что снимал, потому что дул ветер и пришлось держать камеру на колене. На седьмом негативе, когда его промыли и высушили в деповской лаборатории — Света организовала лабораторию из фотокружка районного дома культуры, — была платформа.

Платформа стояла в кадре справа: короткая, деревянная, со свежими досками, ещё не потемневшими от рук. За ней — фонарь на литом столбике, с округлым колпаком; колпак был освещён изнутри, и свет падал вниз плотным конусом. Под фонарём стояла фигура в тулупе — не человек на снимке, а именно фигура: длинная, неподвижная, повёрнутая лицом к путям. Второго строения на снимке не было, кроме низкого бревенчатого сруба с дверью, над которой виднелась доска с надписью. Надпись читалась. Хоть снимок и был ночной, хоть и зерно, хоть и 1913-й, — читалась: «ОБОЛЬНО». Гольденберг, когда ему показали высушенный негатив, посмотрел на него через лупу, потом снял лупу, потом посмотрел снова — и сказал единственную фразу, которую Света запомнила на все совещания: «Я снимал перегон Ключи — Заборье. Я не снимал платформ. Значит, платформа сняла меня сама».

Инженер Рудницкий, глядя на тот же негатив, работал иначе — он мерил. Он приложил к снимку масштабную линейку, посчитал высоту фонаря в кадре, соотнёс с типовыми столбами дороги, посчитал расстояние до насыпи, поднял чертежи линии за 1909–1912 годы — и к полуночи положил перед Сомовым лист, на котором было сказано то, отчего Сомов снял очки и протёр их, хотя очки были чистые. На месте двухсот четырнадцатого километра, на расстоянии полуверсты от перегона, по проекту 1910 года числился недостроенный разъезд. Две платформы, сторожка, колодец, водокачка — сооружения велись, приёмка не проводилась, в постоянную эксплуатацию разъезд не передавался. Проектная должность называлась

так: «разъезд Обольно». В графике движения 1913 года он, разумеется, не значился: неоткрытые разъезды не принимают поездов. Он сгорел в 1921 году — это уже было в новых архивах, и об этом дальше.

Счётчик, который шёл в обратную сторону

К третьему дню в Ольховку сползлись — уже не с представителями, а с людьми: учёные, железнодорожники отставные, два историка, один санитарный врач, и — что оказалось важнее всех — старик Громов с поста Ключи, который принёс свою личную тетрадь в клетку, сорока лет ведения. Громов вёл тетрадь с 1986 года: записывал на перегоне всё, что ломалось, странно звучало и не сходилось, — потому что, сказал он, «записанное странное потом перестаёт быть странным, оно становится справкой». В тетради, против дат, стояли записи, из которых складывался профиль двухсот семнадцатого километра: «заезд стрелки без команды», «секундомер сбился на полсекунды», «гудок услышан с опозданием на полторы секунды», «приборы опаздывают в лютый мороз», «телефонный гул на линии, причина не найдена». Громов положил тетрадь на стол и сказал Свете: «Девочка, я сорок лет записываю, что двухсот семнадцатый — кривой километр. Меня все смеялись. Ты теперь не смейся. Поезд твои сорок лет подтвердил».

— Мы пройдём по этой земле в своё время, — сказал он тогда Сомову, укладывая тетрадь. — Я вам одно скажу как путеец: рельсы врать не умеют. Врать умеют люди, стрелки, телеграф и расписания. Рельсы врать не умеют».

А в шесть вечера того же дня к Свете подошла Анна Обольская — тихо, как подходят в библиотеке, — и сказала фразу, с которой стала понятна вся вторая часть этой истории: «Вам нужен мой поезд, а не мой перрон. Спросите у них, что было в пути. Спросите у машиниста, что делала печь. Спросите, кто смотрел в окно между часом и двумя. Я всё помню, но я вам не докажу, а они докажут: у них есть фотографии, у них есть тетрадь, у них есть часы. И ещё, Светлана… — она помолчала и сказала то, что Света потом проверила и подтвердила: — Моё окно. В третьем вагоне, у окна, где я сидела. Стекло у меня было чистое. На всех остальных — были узоры». Света записала. Про узоры она спросит ещё раз — когда поедет в вагон, — и получит тот же ответ от фотографа, от гармониста, от бабушки Агафьи: на всех стёклах этой ночи, на всех окнах, в час двадцать морозные папоротники расползались изнутри, как растут зимой на рамах, — на всех, кроме одного.

Вечером второго дня в депо случился спор — первый настоящий спор этих людей в новом веке, и потому его надо записать. Спорили о том, говорить ли правду газетам, если они приедут: Балакирев предлагал говорить всё, «правда — лучший товар, врать по ней накладно»; Пчёлкин — ничего, «наш брат путеец репортёру не должен ничего, кроме техники безопасности»; а врач Веретенникова сказала то, с которым согласились все: «Говорить надо не газетам. Говорить надо школе. Придите в класс и расскажите детям как есть — дети не переврут. Взрослые переврут по должности». Спор закрыл Сомов своей резолюцией: «Никто ничего не говорит. Говорит журнал. Журнал поедет в узел — копия, под роспись. Кто хочет поговорить — приходите ко мне, поговорим вчетвером: вы, я, журнал и чай».

Ночью Света, заступив на пост, перечитала свою тетрадь с первой страницы — и увидела то, чего не видела по ходу: за четыре дня у неё скопилось двадцать шесть подписей, и все двадцать шесть — разные, но все под одним и тем же родом подписей: «показания записаны верно». Люди, приехавшие из века, который она знала по школьной программе, подписывали её тетрадь с той же служебной серьёзностью, с какой подписывали накладные, — и от этого подписного ряда, от ровности почерков, от приписок «читал, согласен», по спине у неё пошёл холод не страха, а ответственности: она теперь была тем человеком, через которого столетие говорит со столетием. Она повязала на тетрадь бечёвку, как повязывают на дела, и написала на обложке слово, которое будет теперь именем всех её тетрадей: «Продолжение следует».

А в четвёртом часу ночи, когда на посту стало совсем тихо, в депо, сквозь стену, донёсся звук, которого Света не ждала: стук. Ровный, рабочий, «та-та, та-та» — кто-то стучал по колесу

молоточком, как стучат смотровщики, проверяя бандаж. Она вышла в депо: у третьей оси первого вагона, с молоточком Рудницкого в руке, стоял Пчёлкин, в пальто поверх рубашки, и стучал по ободу, слушая — так, как стучал сорок лет. «Захар Ильич, вы чего не спите?» — «А я, дочка, не сплю по ночам: привычка смотровщика. Вот проверяю — целы ли колёса. Целы. По кругу встали, как в девятьсот тринадцатом. Спите спокойно: машина на месте. Она, знаете, как конь: пока её трогают — она дома».

Журнал тем временем лежал у Сомова в сейфе, в клеёнчатой обложке, и к нему прикладывался лист с вдавленным следом — «Оболь…», прочитанный Светой ещё в первую ночь. Сомов по старой привычке держал вещи в порядке: журнал — в сейф, след — в файл, негатив номер семь — в конверт с ватой. Он был начальник станции и знал, что у всего на свете есть опись. К концу третьего дня у него появилась новая графа в этой описи, графу он назвал в рабочей тетради просто: «то, чего нет». В графу вошли: станция Обольно, отсутствующая во всех документах 1913 года; сорок восьмой пассажир, отсутствующий в журнале; и время, отсутствующее в памяти сорока семи человек, — двадцать пять минут между 02:12 и 02:37, о которых ни один пассажир, ни один член бригады не мог сказать ничего, кроме того, что их не было. Графа заканчивалась вопросом, который Сомов записал и подчеркнул дважды, потому что по-другому нельзя: «ЕСЛИ ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО — КАК ПОЕЗД ЕГО ПРОШЁЛ?»

Глава 7. Ночь вторая. Общие сны

Во вторую ночь в депо все спали — и все видели один сон. Это выяснилось к утру так же, как выясняется всё в этой истории: за чаем, по слову за словом, пока бабушка Агафья не сказала вслух то, что каждый думал молча: «Я, милые, всю ночь ехала. И вы все ехали — я видела по лицам, как вы глазами под веками по столбам ведёте». Зал притих. Потом Пчёлкин, старый смотровщик, сказал своё: «А я всю ночь считал стрелки. Насчитал сорок две. У меня на участке их было сорок две — я двадцать лет их смазывал и каждую помню по звуку». Гармонист Сеня добавил, что он всю ночь играл — «и нога тянула меха по-настоящему, я проснулся с мозолью». И тогда встал профессор Верейский, отложил чай и попросил слова — короткого, как он сказал, «для точности протокола».

«Господа, — сказал он, — я всю ночь читал лекцию. Я знаю зал — это был наш зал, тот, белогорский, тысяча девятьсот тринадцатого года, с афишей на колонне. Я читал про звучание материи, восемь опытов, все восемь шли. И зал мой слушал. Я проснулся на девятом опыте, которого в лекции нет, и не могу вспомнить, что это был за опыт, — а сон был так честен, что во сне я сделал вывод, и вывод этот, господа, я запомнил наяву. Вывод такой: материя звучит, пока есть кто слушать. Дальше профессорской силы честности у меня нет — вывод я записал, а откуда он, не знаю. Спросите у Тумашева: он, кажется, тоже не спал».

Тумашев и не спал — он обходил состав, третий раз за ночь, потому что, сказал он, «в чужом депо свой ход не спится»; но и он видел сон, только не закрывая глаз: он видел перрон Белогорска — тот, конечный, — и на перроне стояли люди, и кто-то у пекарни пёк по ночам, и свет в том окне был тёплый. «Я станцию не знаю, — сказал он, — я в Белогорске не был никогда: до конечной меня не довозили ни разу. А сон показал так, что я узнал бы её из тысячи. Вон у вас на улице пекарня есть, Светлана. Так вот: не пекарня. Другая. Старая. С окном на путь». Света ничего не ответила — она не знала ещё, что через год на Водной, в Белогорске, действительно есть старая пекарня Морозовых, с окном на путь и с пекарем, который печёт по ночам, как пёк его прадед, встречавший невестку с «того» поезда. Она записала сон в тетрадь, под датой, без толкований. На этой линии уже знали: толкования приходят сами, записанное — надёжнее.

Света снов не видела — дежурным не положено, она в эту ночь стояла на посту, — но она собрала сны. К одиннадцати утра у неё в тетради было двадцать три пересказа, и пересказы сходились не в деталях — в предмете. Спали все одну и ту же ночь: путь, столбы, луна, ход без стуков, и главное — у всех во сне поезд шёл. Не стоял под навесом, не ждал — шёл, и каждый видел его со своего места: Тишка — из будки, Балакирев — из-за шкатулки, Анна — от окна, Гриша — с полки, за стеклом. «Мы не спим, — сказала врач Веретенникова, подводя итог утреннему чаепитию с той же ровностью, с какой ставила диагнозы, — мы ведёмся. Ведёт нас то, что нас везло. Пока не прибудем до конца, оно будет вести: у поезда, господа, есть право довезти. Так пусть ведёт во сне — наяву-то мы стоим».

Ким услышал об общих снах на второй день — и попросил обмерить спящих. Это было несложно: он поставил в депо два прибора — хронометр и датчик ритма, — и пообещал Сомову не мешать. Обмерил он двенадцать ночей подряд и данные потом свёл в таблицу, которая вошла в его отчёт под заголовком «Пульс депо», и таблица эта была самой тихой из всех его страниц: пульс спящих с девяти до девяти сорока вечера — то есть в то время, в которое поезд № 7 шёл по перегону, — у всех обмеренных ложился ровно в шестьдесят ударов, как ложился в ту ночь в вагонах. В девять сорок один расходился — у всех разом, как расходится хор после паузы. «Я не знаю, что это, — написал Ким под таблицей, — но я знаю, чего это не. Это не сон. Сны не держат хронометр. Записываю как есть: депо стоит, а ход идёт. До 02:53 не хватает. Домерим осенью».

А осенью, после рейса памяти, он допомерил: с ночи шестнадцатого октября 2027 года пульс депо перестал ложиться в шестьдесят. «Всё, — сказал он тогда Сомову по телефону, не скрывая ни досады, ни облегчения, — поезд довёз. Ход отпустил. Спите, начальник, как все люди — вразнобой, как Бог на душу положит. А то ход держал вас на одной ноте двадцать шесть месяцев. Я бы на вашем месте устроил разнобой праздником». Сомов сказал, что устроит. И устроил: в депо в тот вечер гармонист Сеня играл до полуночи, вразнобой, как Бог на душу положит, и это был единственный концерт в истории депо, на котором никто не считал такты.

Сны — последние из них — снятся и теперь, но редко, и сны стали другие: Пчёлкину снятся смазанные стрелки — «какие были, те и снятся, только смазаны хорошо»; Балакиреву — ярмарка, на которой он торгует ложками сорок восьми наименований; бабушке Агафье — столбы, но уже не телеграфные: новые, бетонные, с номерами, и она в снах их читает, хотя не умеет; а Грише — тот самый мост из пластинки, но в конце моста теперь стоит станция, и на станции горит фонарь, и поезд подходит к нему вовремя. Один Гриша рассказал этот сон вслух — Свете, при всех, на часе расписания, — и добавил то, за что его похвалил профессор, назвав «наблюдателем с исходной точкой»: «А ещё там, за фонарём, стоит человек в тулупе. Он не страшный. Он просто стоит и ждёт, когда все доедут. Мы, кажется, все доехали. Может, теперь и он поедет?» Никто не ответил. Никто и не торопился отвечать: на этой линии умели ждать. Секундомер у Громова висел на шее. Время — у них в запасе было.

Глава 8. Словарь уходящих слов

Лидия Павловна Смородина ехала в поезде № 7 к первому месту службы — в сельскую школу при Белогорске, — и вела в дорожной тетради то, что вела всегда: слова. Не конспекты, не протоколы — слова: она записывала, как говорят, — «через дефис», «с придыханием», «с укором», — и различала в речи людей то, что различают в почерках графологи. В первые же сутки пути в её тетради оказалось полторы страницы: гуси «оглядели мир», купец сказал «не кричит, а весит», кондуктор — «всё по форме», машинист — «дорога врать не умеет». Она ещё не знала, что собирает не наблюдения, а музей; знала только, что слова идут мимо неё густо, как столбы.

В 2026 году она обнаружила, что стала носителем целого диалекта. Не языка — диалекта: сорок восемь человек говорили на русском, но у этого русского было то, чего не было у русского двадцать шестого года, — плотность. Слова были длиннее, обстоятельнее, с лишними придаточными; обращения были полнее («ваше преподавание», «благодарствую, батюшка дома»); и было в речи то, что Лидия Павловна, человек гимназии и словесности, определила за неделю и записала в тетрадь красным: «Вежливость расстояния. Они соскучились по собеседнику: они не перебивают. За сто лет перебивание стало нормой — а у них не умеет ещё». Она начала «Словарь уходящих слов» в первую же неделю — по совету врача, сказавшего ей, не зная, что говорит: «Вы бы записывали, Лидия Павловна, а то ведь и правда уйдёт».

Словарь её был устроен не как словарь — как вокзал: каждое слово было поездом со своей станцией. Статья начиналась со слова, шла к вещи, от вещи — к человеку, от человека — к сцене, и прочитывать её значило прожить кусочек века. Вот, например, статья «рукомойник»: «Рукомойник — жестяной рукав с решёткой, подвешенный над лоханью; нажимаешь ногой — вода идёт. Стоял у всякой избы с девятьсот десятого. Слово ушло вместе с вещью в пятидесятых, вернулось в июне 2027 года — в депо станции Ольховка, где рукомойник повесил А. К. Верейский: „для честности опыта“. Скажите слово — и у вас в комнате будет умывание, а не санузел: это разные обряды, поверьте свидетельнице обеих эпох». И так — сто семьдесят раз.

Словарь выходил дважды — малым тиражом в узловой типографии, потом, после рейса памяти, в городской, — и читателями его становились неожиданные люди: не лингвисты (лингвисты писали вежливые письма с терминологией), а дежурные по постам, машинисты, школьники и старики, узнававшие в статьях свои дворы. Письма читателей Лидия Павловна вклеивала в макет второго издания, не исправляя ни запятой: «Читатель словаря — соавтор: он помнит вещь, которой не помню я». Самым частым письмом было короткое, из сорока с лишним населённых пунктов дороги, и все они сводились к одному: «У нас так говорили в детстве. Спасибо, что записали».

В школе она работала тридцать лет — до самой пенсии, в том же посёлке, в той же классной комнате, и выпустила, как считали в посёлке, «три поколения с ушами»: её выпускники слышали речь так, как слышат настройку, — и это было её главным делом: не учить говорить правильно, а учить слышать живое. Методика её, изданная тем же словарным томом в приложении, состояла из трёх упражнений и называлась «Три поезда»: первое — «слушать телефонный разговор бабушки, не понимая слов» (слышим интонацию); второе — «переписать объявление вокзала словами деда» (слышим время); третье — «прислать друг другу голосовые по одной минуте и пересказать не слова, а тембр» (слышим человека). Школьники посёлка, выросшие на этих трёх поездах, отличались в округе одним качеством, которое замечали все приёмные комиссии: они дослушивали вопрос до конца.

Про поезд № 7 она написала в словаре одну статью — самую короткую и самую личную, слово «доезд»: «Доезд — слово кондуктора Тумашева, обозначавшее не прибытие, а полноту пути: доехать — значит, чтобы ожидание кончилось встречей, а недовезённое — довезено.

Пример: „Товарищи, у нас доезд“ — сказано на перроне Белогорска 15 октября 2027 года в 02:53, для сорока восьми человек и для города. Слово не уходящее. Слово приходящее: у нас его больше нет — пока». Под статьёй она поставила дату и добавила строку, которую потом переписывали в тетради всего посёлка: «Записывайте слова, люди добрые. Слова — это то же расписание: пока ведётся, едешь».

Глава 9. Врачи

Про врачей надо сказать отдельно, потому что медицина — единственное дело, в котором оба века встретились нос к носу и обоим стало стыдно. Стыдно было не за методы: за срок. Вечером третьего дня, когда в депо закончился час расписания и столовая опустела, Татьяна Робертовна Гай, врач посёлка, осталась сидеть с Софьей Андреевной Веретенниковой — за вторыми стаканами чая, против друг друга, между ними ватрушка, которую никто не делил, потому что делились разговором.

Разговор начался с жалоб — с неё, Татьяны Робертовны: «Софья Андреевна, я вам вчера показывала камеру, а вы мне — ларингоскоп. Я всю ночь думала. Вы знаете, сколько мне времени занимает приём? Пятнадцать минут на человека, двенадцать человек в день. У вас сколько было?» — «У меня, — сказала Софья Андреевна, — было шесть человек в день, и я сидела у каждого, пока не становилось ясно. Иногда это час, иногда — полдня. Я, знаете, говорила всегда: болезнь — гостья. Гостью надо встретить, а не оглядеть в дверях». — «Шесть человек, — повторила Татьяна Робертовна и посмотрела на свои руки, — а у меня население на сорок два двора. Со школой. С фермой. С дачниками летом».

И тут случилось то, о чём в посёлке рассказывали потом годами: две врачи, не сговариваясь, потянулись каждый к своему мешку. Татьяна Робертовна достала планшет, — «вот, смотри: вся история болезни за двадцать секунд, анализы, снимки, назначения», — а Софья Андреевна достала свою тетрадь, рабочую, в клетку, и открыла на том месте, где велись её «крыльцовые записи»: дата, двор, жалобы своими словами, что сделала, что обещала, когда придёт опять. Записи шли за годами, рукой ровной, честной, с приписками на полях: «матери дать отдохнуть — половина лечения», «ребёнка показать глазному в узле, пока ходит сам», «отец пьёт — разговор в среду, без него жена не поправится». Татьяна Робертовна листала долго. Потом закрыла тетрадь, положила на неё ладонь и сказала фразу, с которой начался их вечный союз: «Софья Андреевна. У меня вся история болезни есть, а пред истории нет. У вас пред история вся есть, а истории нет. Обменяемся?»

Обменялись — и обмен этот шел до самого рейса памяти, и больше. Софья Андреевна училась камере — недоверчиво, руками: «Ага. Значит, щипцы у вас теперь стеклянные. Ну-ну. Стекло честнее меди, спору нет»; Татьяна Робертовна училась крыльцу — с ужасом и восторгом: она выходила с Софьей Андреевной «на обход» дважды в неделю, и в первый же обход случилось то, о чём она потом рассказывала студентам: старуха из крайнего двора, полгода не открывавшая фельдшеру, открыла им — потому что шла «с Веретенниковой», а Веретенникову «она пускала всегда, та в девятьсот двенадцатом её отца откачала». «Я поняла, — говорила Татьяна Робертовна, — что такое преемственность. Это когда дверь открывают не тебе, а тому, кого ты носишь с собой. Я двадцать лет стучалась сама. Оказалось — надо было просто побыть чьим-то продолжением».

Совместный список — тот, что они составили в первую ночь, — висел потом в фельдшерском пункте в рамке, переписанный набело, и был он, по общему признанию, самым честным медицинским документом округа. В левой графе стояло «лечим хорошо» и дальше: сборы трав у стариков, разговоры с роднёй, обходы пешком, «сидеть столько, сколько надо», чай с малиной, мёд с сотами, грелка, вода из колодца Обольно (тут они посмотрели друг на друга и оставили строку — пусть будет, место честное). В правой — «лечим плохо, оба века»: ожидание в очередях, страх перед бумагой, стыд спросить про деньги, одиночество больных, «спешим». Под списком Софья Андреевна подписала то, что Татьяна Робертовна потом повторяла на каждом сельсовете: «Век не лечит. Лечит тот, кто пришёл и сел. Век только меняет сумку».

К зиме они открыли совместное дело, которого не имела ни одна амбулатория области: «книгу прихода». Книга была простая: каждый больной, побывавший у любой из них, получал

страницу — и на странице, кроме жалоб и назначений, стояли строки, которых в историях болезни не бывало: кто у него в доме, кто ждёт, чем кормят, что болит у двора, — и через год эта книга читалась как летопись посёлка, где болезни были только дверью. Татьяна Робертовна вписала в неё и историю самой Софьи Андреевны — ту, что положено: «прибыла поездом № 7, 15.10.2026, здорова, работа — приём, два дня в неделю; сон — ровный; тоска по веку — не отмечается». Софья Андреевна прочла и засмеялась первым за четыре месяца смехом — и только: «Тошка, а напиши ещё: тоски нет, потому что работа есть. Мне девятнадцать лет в уезде было страшно от одиночества — одна на сто дворов. А тут их у меня сто двадцать, и все ждут. Не тоска, а расписанье».

Про «расписанье» надо сказать особо, потому что это было её слово и её метод. Софья Андреевна, приученная уездом к тому, что врач — это график дорог и сроков, завела в фельдшерском пункте расписание, какое ведут на станциях: дни прихода по дворам, как поезда по путям; часы приёма — «стоянки»; и в конце каждой недели — «отправление»: она уходила в дальние деревни, на два дня, с рюкзаком и уазиком по очереди, и возвращалась к вечеру пятницы, к столовой депо, к чаю с Веретенниковыми и Гай — теперь уже в четырёх стаканах, потому что к ним прибилась и местная медсестра, и студентка-практикантка. Посёлок сначала шутил: «доктор по расписанию». Потом перестал шутить: потому что расписание выполнялось. Через год область издавала их книгу прихода как методичку с названием, которое предложила Ирина Валентиновна из дорожного совета: «Медицина как транспорт: человек доедет, если его ждут по расписанию».

А в ночь рейса памяти обе были на перроне Белогорска — в числе сорока. Татьяна Робертовна пришла с фельдшерского пункта, Софья Андреевна ехала в поезде, в первом вагоне, с саквояжем, в котором лежали её старые щипцы — она взяла их «для формы, по-семейному», — и когда поезд остановился и открылись двери, первая, кто поднялся по ступенькам к ней навстречу, была Татьяна Робертовна. Она взяла Софью Андреевну за локти — по-медицински, под руки, как встречают после долгой дороги, — и спросила с платформы, громко, чтобы слышал перрон: «Ну что, коллега. Пульс?» — «Восемьдесят, — сказала Софья Андреевна, сходя. — Неровный. Живой. Тошка, у нас всё: приехали. Давай чай, и напиши в книгу прихода: недовезённое — доставлено».

Глава 10. Ящик профессора

Ящик профессора Верейского описывали третьим — после журнала и после гусей, потому что гуси, как ни странно, шли в описи раньше: у Пелагеи Тимофеевны было на них свидетельство, а у профессора не было ничего, кроме собственного слова. Ящик был из светлого дерева, окован медью, с ручками на торцах и с фанерной крышкой на восьми винтах; на крышке чёрным по лаку шло: «А. К. Верейский. Публичная лекция. Белогорск». Внутри лежали: катушка Румкорфа — приличная, школьного образца, со слюдяным конденсатором; маятник на стальной подвесе, в оправе, как оправляют часы; стеклянная батарея Лейдена; и камертон — вот он и был главный предмет, — большой, с чистой ля, до двухсот шестидесяти герц, в футляре из красного дерева, выстланном сукном.

Верейский сам распаковал ящик, когда Сомов попросил описать содержимое по форме. Он делал это так, как распаковывают ящик люди, перевозившие его через три губернии: сначала тряпка, потом футляры, потом каждый предмет в руки начальству с пояснением, для чего. Катушка — чтобы давать искру, наглядно. Маятник — чтобы показать, что колебание есть колебание, и в тени, и на свету. Камертон — чтобы показать звучание и разложение; у меня в лекции, — сказал он, — восемь опытов, и все восемь можно сделать на перроне. Это лекция для публики, Павел Григорьевич. Для городской публики. Я вожу её тридцать лет — и ни один предмет здесь не опаснее чайника.

Сомов слушал, кивал, записывал — и в конце спросил то, что спрашивал у всех, кто прибывал с этого поезда: «Что вы помните между двумя и половиной третьего?» Верейский ответил не сразу. Он вытер руки о платок, посмотрел на камертон в футляре и сказал: «Помню всё. В том-то и беда, Павел Григорьевич, что помню всё — и ровным счётом ничего. Я помню, как в час двадцать на стёклах выросли папоротники. Я помню, что в два двенадцать мы стояли у какой-то платформы — я видел её из окна, я, кажется, читал на ней доску, но не помню, что было написано. Я помню, как в два двадцать восемь замерло пламя. И я не помню ничего противоестественного. Вот это и есть противоестественное: всё было противоестественно — и всё было можно объяснить, если не задавать вопросов. Наука, молодой человек, — это привычка задавать вопросы. А сон — привычка их откладывать. Мы всю дорогу спали стоя».

Часы он передал добровольно — вместе с коробочкой, в которой носил их, — и это был первый предмет с этого поезда, который лёг рядом с современным эталоном времени. Часы были каретные, серебряные, с ключом и с заводной погрешностью, о которой хозяин сказал честно: «Отстаивают на минуту в сутки, я завожу по утрам, так что на момент прибытия — минута». Света сверила их с компьютерными часами на пульте, когда рядом не было никого из приезжих, — и записала в тетрадь цифру, которую потом будут называть на совещаниях «первой строкой протокола Верейского»: локомотивное время поезда № 7, четырнадцатое октября, двадцать один час сорок минут, плюс пять часов тринадцать минут пути, равно — два часа пятьдесят три минуты. Пятнадцатого октября. Тысяча девятьсот тринадцатого года. То есть часы поезда шли честно; честно шли и часы станции; между двумя честными часами лежало сто тринадцать лет, и оба прибора этого не заметили.

Рудницкий пришёл к профессору в тот же вечер — инженер к физику, путь к волне, — и они разговаривали на двух языках, из которых оба понимали третий, общий. Рудницкий рисовал на обёрточной бумаге перегон с километровыми столбами и спрашивал: «Вот здесь, на двухсот четырнадцатом, — платформа. Здесь, на двухсот семнадцатом, — что? Провал? Слой?» Верейский рисовал волну, и под волной — вторую, медленную, и говорил: «Не провал. Провал — это дыра, в дыру падают. Мы не падали, Николай Аркадьевич, мы ехали. Представьте мост над рекой. Под мостом течение быстрое, на мосту — тихо. Камертон, положен-

ный на перила, не заметит течения. Камертон, положенный на берег, не заметит моста. А если камертон положить на мост в тот момент, когда мост...

Он не закончил — не потому, что забыл, а потому, что в депо, за стеной, в ящике, отозвался камертон. Тихо. Один раз. Так отзывается камертон, когда мимо него по полу проносят и ставят другую звучащую вещь, — коротким «динь», ниже голоса, глубже слуха. Оба подняли головы. В мастерских было тихо; печь потрескивала; гусь в сарае возмущался по своим делам. Верейский встал, подошёл к своему ящику, открыл футляр: камертон стоял в сукне, целый, не тронутый, — и был ещё тёплый. Не горячий. Тёплый, как монета, которую держали в кулаке. Верейский посмотрел на часы. Было ровно 02:12 ночи — третьи сутки подряд, сказал он потом Рудницкому, он будет смотреть на часы в это время, и дважды из трёх камертон отзовётся. «Он не звонит, — сказал профессор, закрывая футляр. — Он отвечает. Вы понимаете разницу, инженер? Звонок — это когда тебя зовут. Ответ — это когда тебя спросили».

Запись об этом разговора не осталось, кроме той, что сделала Смородина в своей книжечке, — она в этот вечер сидела в углу мастерских, готовя для пассажиров «сводку чего мы до сих пор не понимаем», и записала под диктовку обоих, путаясь в словах. В сводке под номером семь стояло: «Камертон в ящике А. К. Верейского отзывается в 02:12. Причина неизвестна. Гипотеза профессора: предмет настроен, как камертон на перилах моста, и отвечает на то, что проходит под мостом, — то есть на сам перегон. Рудницкий добавил от себя: перегон никогда не был безопасным километром, см. тетрадь Громова». Внизу страницы Смородина подписала — не для протокола, для себя: «Я сидела в мастерских и не слышала ничего. Слышали только двое, у которых были камертон и мост. Я записываю это и думаю: сколько ещё в мире отвечает, пока мы спим?»

Ящик, между тем, имел и вторую жизнь — не приборную, аудиторную: Верейский разложил под навесом все свои восемь опытов для «часа расписания» — того вечернего сбора, который завёл Сомов, — и депо впервые увидело физику в исполнении человека, который делает её руками сорок лет. Искра в темноте; маятник, качающийся «и в тени, и на свету»; камертон на резонансном ящике, звучащий после удара «сам по себе»; лейденская банка, от которой студент шарахнулся и засмеялся. Гуськов смотрел из будки, не спускаясь; Тишка смотрел, утирая руки; Тумашев смотрел с площадки. И когда опыт кончился, машинист сказал через всё депо громко, как докладывают: «Александр Карлович! А ты не мог бы мне объяснить — почему моя машина едет без угля?» И профессор, утирая руки, ответил с той же кафедральной честностью: «Могу объяснить, что это не она. Не могу объяснить, что это. Между этими двумя „могу“, Степан Лаврентьевич, и лежит вся физика. Пока — живём в первом».

Час расписания стал с той недели институтом депо — только без кафедр: на нём каждый вечер выступал кто-нибудь один, «по призванию дня», и рассказывал своё. Верейский открыл цикл; Рудницкий продолжил — про стыки и про то, как «рельс запоминает всё, что по нему прошло»; Смородина рассказала про слова; Балакирев — про серебро; Гольденберг — про стекло и негативы; Тумашев — про журналы. Люди ехали на эти часы из посёлка, как на гастроли; школьники занимали первый ряд; Громов с Ключей приходил через поля с фонариком и своей тетрадью. Света вела протокол этих часов — отдельную тетрадь, «час расписания, отчёты», — и на её последней странице, к зиме, появился список из девятнадцати тем с прочерками у прочитанных и словом «достаточно» против тех, о которых говорить было уже нельзя без разрешения говоривших: о двойной минуте, о человеке в тулупе, о письмах Дарьи.

А сам ящик, по ночам, отвечал. Не камертон — камертон отвечал «динь»; отвечал весь ящик: в два часа двенадцать минут в фанерной стенке что-то тихо оседало и вставало, как оседает и встаёт дом при проходе тяжёлого состава, хотя состава не было. Света записала это явление в тетрадь четвёртой ночи — «ящик вздыхает» — и на вопрос Рудницкого, как это понимать, ответила дежурным языком, который оказался самым точным: «Понимать так: не трогать. У прибора есть сон — пусть спит. Мы же не будим составы». Верейский, услышав про

«сон ящика», засмеялся первым за четыре месяца — и сказал, что это лучшая формулировка его лекции, которую он не написал: «Дочь моя, вы только что открыли раздел физики, который я тридцать лет искал и не смел назвать. Пусть будет „сон приборов“. Я, кажется, тоже буду спать в эту смену».

Утром Верейский сказал Сомову то, за что Сомов потом держал его на совещаниях как знамя: «Павел Григорьевич, я прошу вас одной вещи. Не разрешайте мне возвращаться. Лекция должна состояться в Белогорске. Если я прочту её здесь, для сорока восьми человек, она не состоится никогда; если я прочту её там, в назначенное время, — она состоится через сто тринадцать лет, и это всё равно состоится. Наука не спрашивает у календаря, она спрашивает: всё ли по форме. Всё по форме, Павел Григорьевич. Я доеду». Сомов, который за трое суток слышал много вещей, в том числе невозможные, записал это в тетрадь и сказал только: «Поедем, Александр Карлович. Только не в этом составе и не этой ночью. Сначала — комиссия. Потом — рельсы. А сейчас — чай, у вас руки холодные, как у утопленника, простите за сравнение».

Глава 11. Фонарь

Музей истории дороги помещался в старом водонапорном здании при узле — два зала, кассовый прилавок, витрина с фуражками и шкаф, в котором стояло то, что дорога за сто с лишним лет не смогла ни списать, ни выбросить. Заведовала музеем Тамара Львовна, шестьдесят два года, бывший дежурный по посту, человек, который помнил наизусть не только расписание, но и то, кто из машинистов как гудел перед выездом, — и она приехала в Ольховку на третий день, сама, с телефонным звонком вперед: «Павел Григорьевич, у меня в шкафу стоит фонарь с Обольно. Я его никуда не выдавала. Приезжайте смотреть, пока смотрители не съехались».

Фонарь стоял на средней полке шкафа, между патефоном и жестяной керосинкой, — и был он литой, чугунный, с округлым колпаком и дверцей, из-за которой сочился запах керосина, хотя залит он был, судя по бирке, в прошлой эксплуатации. Бирка на ручке гласила рукописным неразборчивым почерком: «Фонарь въездной. Разъезд Обольно. Принят на хранение 1921, октябрь». Колпак был целый. Литое основание имело выбитую при литье цифру: 214. Сомов, когда увидел эту цифру, снял очки, посмотрел на неё не через очки, положил очки обратно и сказал: «Километровая отметка. Они отливали с отметкой места. Фонарь с двухсот четырнадцатого километра».

Тамара Львовна достала журнал приёмки — музей вел инвентарную книгу с послевоенных лет, и в ней, против записи о фонаре, была вписана история поступления, переписанная когда-то с акта 1921 года. История была короткая, и Света читала её стоя, держа книгу обеими руками, как читают письма: «Разъезд Обольно, не открытый, недостроенный, принял огонь в ночь на 3 июня 1921 года. Причина — печной перегрев сторожки. Сторож, Гедеон Прохорович Кузнецов, служил при разъезде с 1912 года, огня людям не дал разойтись, строения спасти не мог, вынес из сторожки инвентарь и фонарь въездной, вынес также вёдро и до утра поливал то, что могло перекинуться на лес. Пострадавших не было. Дорога разъезд восстанавливать не стала: платформы обгорели, вода далеко. Фонарь принят от сторожа на хранение как единственный целый предмет разъезда. Кузнецов Г. П. служил до 1929 года сторожем при складе, умер своей смертью в 1931».

— Вот он, — сказала Тамара Львовна и положила ладонь на чугун. — Единственный предмет с несуществующей станции. Дорога его не списала ни в один год: ни при смене эпох, ни при больших ревизиях, ни при списании списаний. Он всегда был в шкафу и всегда был с биркой. Я тридцать лет думала, что его просто жалко было выкинуть. А теперь я думаю другое: у дороги не поднималась рука. Вы замечаете, как это у нас бывает? Вещь стоит сорок лет, и никто не трогает, и никто не может сказать, почему».

Гольденберг привезли к фонарю на следующий день — осторожно, как привозят свидетеля к опознанию. Он поднёс лупу к колпаку, к литому основанию, к дверце с ключом-поворотом, долго молчал и потом сказал то, что Света записала в тетрадь под заголовком «сходство»: «Колпак — да. Основание — да, цифра в том же месте, только у моего в кадре цифра левой стороной, это зеркало негатива, у стеклянных негативов всё зеркально. Дверца — да, петля справа. Фонарь с моей платформы. Тот самый. Один к одному». И добавил, уже без лупы, глядя на Тамару Львовну: «Скажите, а сторож, Гедеон Прохорович... он был в тулупе? Осенью, в октябре, на разъезде без отопления — в тулупе?» Тамара Львовна ответила, что в акте сказано: «в тулупе, с фонарём, встречал комиссию дороги на въезде». Гольденберг закрыл лупу с тем щелчком, с каким закрывают дела.

Фонарь зажгли в тот же вечер — Тамара Львовна настояла, и Сомов не стал запрещать, потому что к этому часу запрещать стало уже нечего. Керосин плеснули из музейной канистры, фитиль подняли, дверцу закрыли, стекло протёрли. Фонарь горел. Он горел ровно, экономно,

тем самым старым ровным светом, от которого тени лежат, как лежат, и никто не шевелится; горел в зале музея среди фуражек и жестяных керосинок — и все, кто присутствовал, потом отзывались об этом одинаково: страшно было не от света, а от того, как легко ему было гореть. Будто он и не гасил ни одного дня из ста пяти. Будто керосин ждал. Света стояла рядом с Сомовым, и Сомов сказал тихо, для неё: «Запишите время». — «Двадцать два сорок», — сказала Света. — «Запишите и то, что горел», — сказал Сомов. — «По порядку: что горело, когда погасло, что делали мы. Я больше не верю в совпадения на этой линии. Я верю в записи».

Фонарь горел сорок минут — ровно столько, сколько было в нём керосина, не больше и не меньше, — и погас сам, с коротким тёплым «пх», как гасят старые фонари, когда хлопают дверцей, хотя дверцу никто не трогал. Тамара Львовна записала в инвентарную книгу против его строки новую графу, которой в музейных инструкциях не было, но которая с этого вечера стала её личной методикой: «15.10.2026. Фонарь горел. Присутствовали: начальник станции Сомов П. Г., дежурная Морозова С. А., фотограф Гольденберг О. Д., бригада и пассажиры поезда № 7 — все, кто пожелал. Света ровный. Погас сам, в срок керосина». И внизу, после раздумья, дописала строку, которую потом будут цитировать на всех совещаниях по Обольно, — короткую, музейную, честную: «Экспонат действующий. Причина сохранности горения не установлена. Экспонат не списывать».

Ночью, когда музей закрыли, Света вернулась к пульту и вытащила из ящика журнал поезда № 7 — Сомов разрешил ей вести с ним параллельную опись, у дежурной свой почерк, у начальника свой. Она переписывала в свою тетрадь строку за строкой: станции, стоянки, отметки телеграфа, — и на строке «Обольно. Стоянка 2 мин. 02:12» остановилась, глядя на неё так, как смотрят на страницу, где буквы сложились в слово, которого не учили. В журнале было двадцать четыре строки движения и одна — станция, которой не строили, не открывали, которая сгорела до открытия и о которой дорога, тем не менее, хранила фонарь сто пять лет, не списывая. Света написала в своей тетради под этой строкой не отметку, не вопрос, а просто три слова, первыми пришедшие: «Он её помнил». И подумала, что это первая фраза за трое суток, которую можно не доказывать. Дорога помнила. Поезд проехал. Остальное — было делом людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.